

делает истинное искусство и что именно это всегда было делом наших художественных критиков. Белинский, Добролюбов и Писарев и их продолжатели только и делали, что учили людей, как жить. Они изучали и анализировали жизнь, как изобразили и поняли ее величайшие художники каждого столетия, и они выводили из их произведений заключение — «как жить».

Более того. Когда Толстой, вооруженный могущественным критическим анализом, бичует то, что он называет подделкой под искусство, он лишь продолжает работу, начатую Добролюбовым, Чернышевским и в особенности Писаревым. Он становится на сторону Базарова. Но это вмешательство великого художника наносит более смертельный удар теории «искусства для искусства», все еще процветающей в Западной Европе, чем это могли сделать диатрибы Прудона или работы наших русских критиков, неизвестных на Западе.

Что же касается утверждения Толстого, что ценность произведения искусства измеряется степенью его доступности для возможно большей массы людей, — утверждения, которое вызвало ожесточенные опровержения со всех сторон и даже насмешки, — то оно, хотя и было выражено Толстым, может быть, в не совсем удачной форме, тем не менее, по моему мнению, содержит зародыш верной идеи, которая в свое время, несомненно, привьется. Очевидно, что каждая отрасль искусства имеет известные условные способы для своего выражения свой собственный путь для «заражения других чувствами художника», и, следовательно, требует известной предварительной подготовки для понимания. Толстой едва ли прав, забывая о том, что известная подготовка необходима для правильного понимания даже простейших форм искусства, и его критерий «всеобщего понимания» заходит чересчур далеко. Человек, незнакомый с картинами, не понимает лиц, написанных в профиль, или же таких, в которых половина лица в тени. Человек с музыкально неразвитым слухом понимает только темп в музыке, только ритм, но плохо различает еще ее звуки, отдельные ноты мелодии. Развитие понимания, следовательно, необходимо, и наше наслаждение искусством растет вместе с развитием нашего понимания.

Но все же в его утверждении лежит глубокая идея. Толстой, несомненно, прав, задав такой вопрос: почему Библия до сих пор не превзойдена, как произведение искусства, доступное пониманию всякого? Мишлэ раньше Толстого сделал подобное замечание и сказал, что наше столетие нуждается в «книге» (*Le Livre*), которая должна заключать в высокохудожественной поэтической форме, доступной для всех, воплощение природы во всей ее красоте и истории всего человечества, в его глубочайших общечеловеческих проявлениях. Гумбольдт попытался дать человечеству нечто подобное в своем «Космосе»; но, несмотря на все величие этого произведения, оно доступно лишь очень немногим; ему не удалось еще превратить конечные выводы науки в поэзию, которую поняли бы массы, и мы до сих пор не имеем произведения искусства, которое даже приблизительно удовлетворяло бы эти потребности современного человечества.

Причина вышеуказанного явления очевидна: искусство сделалось чересчур искусственным, удовлетворяя главным образом запросам богатых; оно чересчур специализировалось в способах своего выражения и сделалось вследствие этого доступным пониманию лишь немногих. В этом отношении Толстой абсолютно прав, возьмем, например, массу превосходных произведений, упомянутых в настоящей книге, — очень немногие из них сделаются когда-либо доступными для народных масс! Дело в том, что мы действительно нуждаемся в новом искусстве, в придачу (но не на смену) старому. И оно появится, когда художник, вникнув в идею Толстого, скажет самому себе: «Я могу создавать глубоко философские произведения искусства, изображая в них внутренние драмы высокообразованных людей нашего времени; я могу писать произведения, отражающие высочайшую поэзию природы, возвышающиеся до глубочайшего знания и понимания жизни природы; но если я могу создавать подобные произведения, то я также должен уметь, если только я истинный художник, творить так, чтобы все меня поняли: создавать такие произведения, которые будут не менее глубоки по концепции, но вместе с тем будут понятны и доставят наслаждение всякому, включая беднейшего рудокопа или крестьянина!» Сказать, что народная песня — произведение более великое, чем соната Бетховена, неверно: сравнивать бурю в Альпах и борьбу с ней с прекрасным летним днем и сельским сенокосом нельзя; а между тем драматические настроения Бетховена представляют именно такие бури в его сердце. Но истинно великое искусство, которое, несмотря на свою глубину и на возвышенность своих идеалов, проникнет в каждую крестьянскую хижину и вдохновит всякого высшими концепциями мысли и жизни, — такое искусство действительно нужно. И, я думаю, оно возможно.